



Книга баллад, опубликованная фон Гумбольдтом Флейшером в середине тридцатых, имела бешеный успех. Гумбольдт был именно тем, кого все ждали. У себя, на Среднем Западе, я тоже ждал, ждал, признаюсь, с великим нетерпением. Поэт-авангардист, первый из нового поколения, он был хорош собой. Светловолосый, импозантный, серьезный, остроумный, образованный. Все было при нем. Ни одна газета не упустила случая поместить рецензии на его сборник. Его фотография без оскорбительных комментариев появилась в «Таймс», а «Ньюсуик» сопровождал ее похвалой. Я с упоением прочитал «Баллады арлекина». В ту пору я был студентом Висконсинского университета и буквально бредил литературой. Гумбольдт научил меня по-иному смотреть на вещи. Меня переполнял восторг. Завидуя удаче Гумбольдта, его таланту и славе, я в мае отправился на Восток посмотреть на него. Может быть, даже познакомиться с ним. Поездка на «Серой гончей» через Скрантон занимала около пятидесяти часов. Но это не имело ни малейшего значения. Окна автобуса были открыты. Никогда прежде я не видел настоящих гор. На деревьях распускались почки. Пейзаж был что бетховенская «Пастораль». Я чувствовал, как зелень словно оmyвает меня изнутри. Манхэттен мне тоже понравился. Я снял комнату за три доллара в неделю и нанялся разносчиком «платяных щеток Фуллера». Жизнь улыбалась мне. Недолго думая я накатал своему кумиру длиннущее письмо, после чего был приглашен в Гринвич-Виллидж поговорить о

литературе, о новейших ее теориях-течениях. Жил Гумбольдт на Бедфорд-стрит, недалеко от знаменитого ресторана «Чамли». Сначала он угостил меня черным кофе, потом в ту же чашку налил джина. «Ты вроде ничего, Чарли, — сказал он, — правда, немного пронырливый, нет? Думаю, ты рано полысеешь. И такие красивые глаза — большие, чувственные. Есть в тебе восприимчивость». Он первым пустил в оборот это редкое словечко. Говорить о восприимчивости вошло в моду. Вскоре Гумбольдт познакомил меня с народом из Деревни и раздобыл книг для рецензирования. Я всегда любил и почитал его.

Гумбольдт пользовался известностью лет десять. В конце сороковых его начали забывать. В начале пятидесятых я сам стал знаменитостью. Даже заработал кучу денег. Ах, деньги, деньги! Из-за них Гумбольдт заимел на меня зуб. Последние годы своей жизни, в те дни, когда не сидел в психушке и был способен разговаривать вразумительно, он метался по Нью-Йорку, разнося нехорошие слухи обо мне и моем «миллионе долларов». «Возьмите этого Чарли Ситрина. Приехал из Висконсина, из Мэдисона, у меня под дверью стоял. А теперь имеет миллион. Какой писатель или вообще — интеллеktуал гребет такую кучу денег? Что — Кейнс? Экономист? Прошу вас... Кейнс — мировая величина, научный гений, принц Блумсбери. Женат, между прочим, на русской балерине. К таким деньги сами текут. Но этот Ситрин — кто он такой?.. А ведь мы с ним когда-то друзьями были, — добавлял Гумбольдт в интересах исторической истины. — Вдобавок есть в нем что-то извращенное. Деньжища награбастал, а носа нигде не кажет. Зачем он в Чикаго? Боится, что его на чистую воду выведут?»

Когда он бывал в своем уме, то не уставал честить меня в хвост и гриву. Это ему хорошо удавалось.

Я, однако, никогда не тянулся к большим деньгам, видит Бог, никогда. Мне хотелось приносить людям добро. Я мечтал совершить поступок. Желание творить добро возвращает меня к раннему детству, к странному ощущению бытия. Погруженный в неприветливые глубины жизни, человек отчаянно, ошупью, охваченный нервной дро-

жью, ищет смысл, хотя прекрасно понимает, как обольстительны одежды иллюзий и что за разноцветными стекляшками-побрякушками скрывается холодный, безнадежный свет вечности. Я был буквально помешан на таких вещах. Гумбольдт, в сущности, знал о моем пунктике, но к концу жизни не выказывал ни симпатии, ни сочувствия, ни сострадания. Больной, раздражительный, он только подчеркивал противоречие между прекраснодушными мечтами и большими деньгами. Но деньги делал не я, они делались сами. В силу каких-то трагикомических причин деньги делала капиталистическая система. Их делало наше общественное устройство. Вчера я прочитал в «Уолл-стрит джорнал» о том, сколько печали в изобилии. «За все пять веков документально подтвержденной истории человечества никогда не было такого количества богатых людей». Пять веков бедности совершенно извратили человеческое сознание. Сердце не приемлет такие перемены. Временами оно отказывается принять это как факт. Когда начинались мартовские оттепели, мы, чикагские мальчишки, искали сокровища под снежными завалами вдоль поребриков. Бурлящие потоки грязной воды бежали под землю, и можно было разжиться замечательной добычей — бутылочными крышками, мелкими автомобильными частями, монетой с головой индейца. Прошлой весной я, пожилой мужчина, поймал себя на том, что сошел с тротуара, иду по обочине и высматриваю — что? Что я делаю? А если бы я высмотрел десятицентовик? Или полдоллара? Как бы я поступил? Не знаю, почему во мне проснулась мальчишечья душа, но она проснулась. Да, все тает, уходит в сточную канаву — снег, совесть, рассудительность, зрелость. Интересно, что сказал бы на это Гумбольдт?

Мне нередко передавали его оскорбительные замечания в мой адрес, и чаще всего я соглашался с ним. «Слышали? Ситрину дали Пулитцеровскую премию за книгу об Уилсоне и Тьюмэлти. Но чего он стоит, этот Пулитцер? Премия для мелкой птицы, для неоперившихся птенцов. Игрушечная награда, придуманная тупицами и мошенниками. Тебе ее выдадут, и ты станешь ходячей пулитцеровской рекламой. Даже некрологи отдают рекламой: «Скон-

чался лауреат Пулитцеровской премии...» — Это он верно подметил, думал я. — А Чарли дважды лауреат. Сначала та слезливая пьеска на Бродвее — помните? Целое состояние сразу нажил. Потом права на экранизацию. Он, конечно, выбил свой процент от валового сбора, будьте уверены! Я не говорю, что он занимается плагиатом, но все равно малость своровал. Своего героя с меня списал. Дикость? Само собой. Правда, небезосновательная».

Ах, как он говорил! Часами длились его монологи-импровизации. Чемпион по остроумию и злословию. Если вас распатронил Гумбольдт, считайте, что вам крупно повезло. Все равно что стать натурой для портрета Пикассо с двумя носами или потрошеного цыпленка Сутена. И его всегда вдохновляли деньги. Обожал говорить о богатых. Возвращенный на «желтых» нью-йоркских газетенках, он любил распространяться о прошлогодних громких скандалах, о Дэдди Браунинге и его красотках, о Гарри Доу и Эвелин Несбитт, о «джаз эйдже» и Скотте Фицджеральде. Он досконально знал подробности жизни наследниц Генри Джеймса. Временами он сам строил несурзные планы сколотить состояние. Однако настоящее его богатство составляла начитанность. Он, должно быть, прочитал несколько тысяч книг. Говорил, что история — это кошмар, что мечтает урвать несколько часов для здорового сна. Благодаря бессоннице он стал образованным человеком. До утра засиживался над томами Маркса и Зомбарта, Тойнби, Ростовцева, Фрейда. Говоря о богатстве, он сравнивал *luxus* древних римлян с накоплениями американских протестантов. По ходу дела обычно упоминал евреев — джойсовских евреев в шелковых цилиндрах — и заканчивал замечаниями о золотой маске Агамемнона, которую якобы раскопал Шлиман. Да, Гумбольдт умел и любил поговорить.

Его отец, венгерский еврей-иммигрант, служил в Мексике, стране хороших шлюх и хороших лошадей, кавалеристом у Першинга и вместе с ним гонялся по всему Чиуауа за Панчо Вильей (не мой родитель, маленький, вежливый, сторонящийся таких вещей). Его старик взял Америку штурмом. Гумбольдт рассказывал о сапогах, сиг-

налах горна, бивуаках. Потом в жизнь отца вошли лимузины, роскошные отели, особняки во Флориде. Он жил в Чикаго во времена послевоенного бума. Он успешно занимался недвижимостью, держал шикарный номер в отеле «Эджуотер-Бич». Летом присылал за сыном. Гумбольдт тоже хорошо узнал Чикаго. То были дни Хака Уилсона и Вуди Инглиша. Флейшеры снимали ложу на стадионе «Ригли-филд» и ездили на игры в новехоньких «пирс-эрроу» или «испано-сюиза» (Гумбольдт бредил автомобилями). Там были также красавец Джон Хелл-младший и симпатичные девочки в трусиках без застёжек, были гангстеры и виски и полутемные банки с колоннами по фасаду на улице Ласаль, где в стальных сейфах хранились деньги, что приносили железная дорога и продажа жаток. Я совсем не знал этого Чикаго, когда меня привезли из Аплтона. Играл с польскими мальчишками в чехарду под путями надземки, а Гумбольдт в это время обжирался у Хенричи шоколадным тортом с кокосовыми орехами и зефиром. Тогда я понятия не имел, какая она внутри, эта кондитерская.

Однажды мне довелось увидеть Гумбольдтову маму. Это было в Нью-Йорке, в ее темной квартирке на Уэст-Энд-авеню. Чертами лица она походила на сына. Безмолвная, толстая, большегубая, закутанная в халат. Седые кустистые волосы, как у фиджийцев. На тыльной стороне ладоней и на смуглом лице большие темные пигментные пятна, такие же большие, как ее глаза. Гумбольдт наклонился и что-то говорил ей, но она молча смотрела на нас немым страдальческим взглядом. Мы вышли на улицу, и Гумбольдт сказал угрюмо:

— Она отпускала меня в Чикаго, но велела шпионить за стариком. Записывать номера его банковских счетов, расходных ведомостей, всякую такую муть, и брать на заметку имена его блядюшек. Собиралась подать на него в суд. Совсем свихнулась, сам видишь. Но тут как раз кризис, отец разорился. А скоро и вообще отдал концы во Флориде. От сердечного приступа.

Таков был фон его остроумных жизнерадостных баллад. Гумбольдт страдал, по его собственному диагнозу, ма-

ниакально-депрессивным психозом. Он держал дома собрание сочинений Фрейда и следил за журналами по психиатрии. Прочитав «Психопатологию обыденной жизни», убеждаешься, что обыденная жизнь действительно сплошная психопатология. Это вполне устраивало Гумбольдта. Он часто цитировал короля Лира: «Бунты в городах, в деревнях — раздоры, и порвана связь меж сыном и отцом... — выделяя голосом «сыном и отцом». — Губительные беспорядки бредут за нами до могилы».

Именно туда добрались за ним губительные беспорядки семь лет назад. По мере того как выходят новые поэтические антологии, я спускаюсь в нижние этажи магазинов Брентано и перелистываю их. Стихов Гумбольдта нет. В сборниках, которые составляют подонки и политики, распорядители литературных похорон, не находится места для старины Гумбольдта. Выходит, его мысли, чувства, писания ничего не стоят? Выходит, его набег за черту в надежде ухватить за хвост Красоту ни к чему не привели, только измучили и измотали его? Он умер в паршивой гостинице неподалеку от Таймс-сквер. А я, писатель другого рода, живу, чтобы оплакивать его, процветая здесь, в Чикаго.

Благородная идея стать Американским поэтом делала из Гумбольдта фигуру, мальчишку, шута, дурака. Мы жили так, как живут богема и студенты-выпускники — развлекаясь и разыгрывая друг друга. Может быть, Америке не нужно искусство и другие чудеса внутреннего мира. У нее хватает чудес осязаемых. США — это крупное предприятие, очень крупное. Чем *оно* больше, тем *мы* меньше. Потому Гумбольдт и вел себя как комедиант и клоун. Иногда его эксцентричность на время затихала, он останавливался и впадал в задумчивость. Старался думать о себе отдельно от Америки (я тоже старался делать это). Я видел, он размышляет о том, что делать между *тогда* и *теперь*, между рождением и смертью, чтобы ответить на некоторые большие вопросы. Такие размышления отнюдь не способствовали его душевному равновесию. Он глотал таблетки и напитки. В результате ему пришлось несколько раз пройт-

ти курс шоковой терапии. Он расценивал это как тягбу «Гумбольдт против Безумия». Безумие было куда сильнее.

Последнее время я сам был не в лучшей форме, и вдруг Гумбольдт подал знак из могилы, и в моей жизни произошли крутые перемены. Несмотря на разрыв и пятнадцатилетнее отчуждение, он оставил мне кое-что в своем завещании. Я получил наследство.



Он был большой забавник, Гумбольдт, забавник, который постепенно сходил с ума. Патологические отклонения в нем не замечали только те, кто слишком громко смеялся его хохмам. Этот красавец мужчина с румяным лицом, этот великий сумасброд и балагур с расстроенной психикой, человек, к которому я привязался, всеми силами души изживал свой Успех. Немудрено, что умер он под знаком Неудачи. Чего еще ожидать, если пишешь эти существительные с прописной буквы. Лично я ставлю некоторые святые слова в более скромное положение. По-моему, Гумбольдт злоупотреблял такими понятиями, как Поэзия, Красота, Любовь, Бесплодная земля, Отчуждение, Политика, История, Бессознательное. И разумеется, Маниакально-Депрессивный Психоз — непременно с большой буквы. Он считал, что самой великой маниакально-депрессивной личностью в Америке был Линкольн. А Черчилль, когда впадал в собачье, как он выражался, настроение, являл собой классический пример психопата. «Вроде меня, Чарли, — добавлял он. — Если Энергия — это Наслаждение, а Радость — Красота, психопат знает о Наслаждении и Красоте больше, чем кто бы то ни было. Кто может быть жизнерадостнее его, кто умеет так наслаждаться жизнью? Что, если стратегия Психики в том и состоит, чтобы усугублять Депрессию? Разве Фрейд не говорил, что Счастье — это не что иное, как ремиссия Боли? Чем сильнее Боль, тем полнее Счастье. У всего этого есть свои начала, и Психика причиняет Боль, исходя из определенной цели. Человечество дивится Жизнелюбию и Красоте иных личностей. Если эта маниакально-депрессивная личность ускользнула от Фурий, она непобедима. Такой человек



покоряет Историю. Его состояние — результат работы тайного механизма Бессознательного. Толстой где-то утверждает, что великие люди и цари — это рабы Истории. Думаю, он не прав. Не будем обманываться, короли — больны, но больны высокой болезнью. Маниакально-депрессивный герой своими деяниями увлекает человечество за собой».

Бедный Гумбольдт недолго увлекал нас своими деяниями. Он так и не стал светилом века. Депрессия сделалась вечной его спутницей. Кончились времена маний и стихов. Через три десятилетия после появления «Баллад арлекина» он умер от сердечного приступа в ночлежке на Западных сороковых, куда дотянулся район бродяжьего Бауэри. В тот вечер я был в Нью-Йорке. Приехал по делам, считай, пустяковым. Забытый всеми Гумбольдт жил тогда в занюханных кварталах Илскомб. Я потом побывал там — так, посмотреть. Муниципалитеты сваливали туда стариков, существующих на одно пособие. Гумбольдт умер в душную жаркую ночь. Мне было не по себе даже в «Плазе». Воздух был напоен углекислым газом. Идешь по улице — а на тебя капает с ревуших кондиционеров. Страшная была ночь. Наутро на борту «Боинга-727», которым я летел в Чикаго, раскрыл «Таймс» и увидел некролог.

Я знал, что Гумбольдт скоро умрет: случайно видел его два месяца назад на улице. Смерть уже коснулась его постаревшей скорчившейся фигуры. Он жевал сухой подсоленный кренделек. Это был его ленч. Он не заметил меня за припаркованным автомобилем, а я не подошел к нему — чувствовал, что не могу. На этот раз у меня было настоящее дело на Восточном побережье: готовил статью для журнала, а не высматривал цыпочку на ночь. Утром с сенаторами Джавитсом и Робертом Кеннеди я облетел на вертолете береговой охраны весь Нью-Йорк. Потом принимал участие в политическом завтраке в «Таверне на лужайке» в Центральном парке, где радовались жизни собравшиеся знаменитости. Я тоже был, как они говорят, «в свежей форме». Если я плохо выгляжу, мне кажется, будто меня поколотили. Но я знал, что выгляжу нормально. Кроме того, в кармане у меня были деньги, и я прогуливался

по Мэдисон-авеню, глаза на витрины. Если мне приглянется галстук у Кардена или Гермеса, я покупаю его, не спрашивая о цене. Живот у меня был плоский, как гладильная доска. На мне были шорты из лучшей хлопчатобумажной ткани по восемь баксов за пару. В Чикаго я вступил в гимнастический клуб, стараясь поддержать ту самую форму. Прыгал с ракеткой по площадке, играл в ракетбол. Как же я мог показаться Гумбольдту? Это было бы чересчур. Пролетая в вертолете над Манхэттеном, я думал, что плыву в лодке со стеклянным днищем над тропическими рифами. Гумбольдт в тот момент, наверное, перебирал пустые бутылки, чтобы глотком сока разбавить утреннюю порцию джина.

После смерти Гумбольдта я стал еще более рьяно заниматься физкультурой. В прошлогодний День благодарения мне удалось убежать от уличного грабителя. Он выскочил из темного переулка, и я дал деру. Это было сугубо рефлекторное действие. Я отпрыгнул от него и пустился вдоль по улице. В детстве в команду бегунов меня бы не взяли. А тут — нате! Ломая пятый десяток, я, как выяснилось, способен сделать резкий рывок и помчаться сломя голову. В тот вечер я заявил: «Кого хочешь в стометровке побью». И перед кем же похвастался быстротой ног, как полагаете? Перед молодой женщиной по имени Рената. Мы лежали с ней в постели. Я рассказал ей, как резко взял старт и понесся как ветер. А она ответила, точно реплику на сцене подала (ах, эта нежная обходительность наших милых дев!): «Ты в потрясающей форме, Чарли. Ростом, может, не вышел, зато крепкий, солидный и к тому же элегантный». Рената поглаживала мои голые бока. Мой приятель Гумбольдт мертв, и косточки его сгнили, и ничего от него не осталось, кроме горсточки праха, а Чарли Ситрин бегаёт быстрее чикагского хулигана, он в потрясающей форме и лежит рядом с полногрудой подружкой. Этот Ситрин умеет делать упражнения по системе йогов и научился стоять на голове, чтобы не воспалялись шейные суставы. Рената знает о низком содержании холестерина в моем организме. Я поведал ей также, что простата у меня — как у молодого, а ЭКГ — лучше не бывает. Иллюзии и

идиотские медицинские заключения придавали сил, и я тискал Ренату на мятых простынях. Она смотрела на меня с любовью и обожанием. Я вдыхал упоительные запахи ее косметики и мазей, наслаждался достижениями американской цивилизации, подкрашиваемой теперь цветами Востока. Но где-то в дальних закутках мозга я видел Ситрина на променадах воображаемого Атлантик-Сити. Это был совсем другой Ситрин — сенильный, сгорбленный, слабый старикашка. Его везут в кресле-коляске, а чуть в стороне мимо него бегут по воде соленые гребешки, такие же невыразительные, как он сам. Однако кто это толкает мою коляску? Неужели Рената? Та самая, которую я взял с боем, внезапным натиском, как брали города танки генерала Паттона? Рената — замечательная женщина, но представить ее за моей инвалидной коляской? Нет, это невозможно. Это не она, ни в коем случае.

В Чикаго Гумбольдт стал для меня самым важным мертвецом. Признаться, я вообще трачу массу времени на размышления об ушедших людях, на общение с ними. Вдобавок мое имя связывали с его именем, потому что по мере удаления прошлого люди, занятые изготовлением радужной ткани культуры, начали ценить сороковые. Прошел слух, что в Чикаго еще жив мужик, который был другом фон Гумбольдта Флейшера, и зовут его Чарлз Ситрин. Пишущая братия, дилетанты, сочинители присылали мне письма или прилетали в Чикаго, чтобы поговорить о нем. Надобно заметить, что в Чикаго мой покойный друг представляет собой естественную тему для раздумий и дискуссий. Стоящий на южной оконечности Великих озер (двадцать процентов мировых запасов пресной воды!), мой город с его материальным гигантизмом является средоточием проблемы поэзии и духовной жизни Америки. Многие видятся здесь яснее, отчетливее, словно сквозь свежую, прозрачную воду.

«Мистер Ситрин, чем вы объясняете взлет и угасание фон Гумбольдта?»

«Молодые люди, как вы намерены использовать сведения о Гумбольдте? Писать статеечки и делать себе карьеру? Но это же капиталистический подход».

Я вспоминаю Гумбольдта гораздо серьезнее и печальнее, чем может показаться из этого повествования. Немногие удостоиваются моей любви. Потому я не вправе забыть ни об одном из них. Гумбольдт часто снится мне, это верный знак привязанности и любви. Каждый раз, когда он является мне во сне, меня охватывает глубокое волнение, и я плачу. Однажды мне приснилось что мы случайно встретились в аптеке Уелана в Гринвич-Виллидже, на углу Шестой и Восьмой авеню. Он был не тем опустившимся опухшим существом, которого я украдкой видел на Сорок шестой, а нормальным крепким мужчиной средних лет. Гумбольдт сидел возле меня рядом с фонтанчиком с кока-колой. Я расплакался и спросил:

— Где ты пропал? Я думал, ты умер.

Спокойный, мягкий, он был доволен моими словами.

— Теперь я все понимаю, — сказал он.

— Что — все?

— Все, — повторил он. Ничего больше я из него не вытянул, но все равно плакал от счастья.

Само собой, это был только сон, такой, какие снятся, когда на душе неспокойно. Но и когда я бодрствую, характер у меня не самый сильный. Наград мне за мой характер не давали. Такие вещи совершенно очевидны мертвым. Они покинули туманную, полную проблем сферу земных забот и интересов. Подозреваю, что, когда человек жив, он словно смотрит изнутри своего эго, из нашей сердцевины. Мертвый, он перемещается на периферию и смотрит внутрь. Встретишь в заведении Уелана старого приятеля, приободришь его, все еще тянущего лямку самости, заверением, что, когда придет его черед отбыть в вечность, он поймет, что и как произошло, и дело с концом.

Поскольку это далеко от Науки, мы стараемся об этом не думать.

Кажется, заговорился? Ладно, попытаюсь подытожить. Итак, в двадцать два года фон Гумбольдт Флейшер опубликовал свою первую книгу — те самые баллады. Иной мог бы подумать, что выходец из семьи евреев, иммигрантов и неврастеников с Девяносто восьмой улицы в Уэст-Энде — его папаша-чудик охотился за Панчо Вильей, волосы у

него, как это видно на фотографии, которую показал мне Гумбольдт, были густые, курчавые, так что военная фуражка едва держалась на голове; мамочка же, родом из тех крикливых многодетных семейств Поташей или Перлмуттеров, знавших только бейсбол и бизнес, в молодости была смугла и привлекательна, но потом сделалась мрачной, полупомешанной, немой как рыба старухой — что у такого молодого человека будет топорный язык, что его периоды не придутся по вкусу привередливым критикам-гоям, стоящим на страже Протестантского Правопорядка и Жантильной Традиции. Ничуть не бывало. Стих у Гумбольдта был правилен, музыкален, остроумен, человечен. Я назвал бы его Платоническим. Говоря «Платонический», я разумею то первоначальное состояние совершенства, в которое жаждет возвратиться человечество. Да, стиль у Гумбольдта был безупречен. Жантильной Америке незачем было тревожиться. Она была в смятении, ожидала пришествия Антихриста из трущоб. А этот Гумбольдт Флейшер сделал Америке любовное подношение. Он оказался джентльменом. Причем очаровательным. Поэтому его так хорошо встретили. Его хвалил Конрад Эйкен. Благосклонно отзывался о его стихах Т.С. Элиот. Даже у Айвора Уинтерса нашлось доброе слово. Что до меня, я занял тридцать долларов и отправился в Нью-Йорк, чтобы поговорить с ним на Бедфорд-стрит. Было это в тысяча девятьсот тридцать восьмом году. У Кристофер-стрит мы сели на паром и пересекли Гудзон. В Хобокене мы ели моллюсков и толковали о проблемах современной поэзии. Вернее, говорил Гумбольдт, целую лекцию прочитал. Насколько прав Сантаяна? Действительно ли современная поэзия — это варварство? У нас больше материала, чем у Гомера или Данте, но современный поэт разучился идеализировать. Быть христианином — невозможно, язычником — тоже. Вот и оказываешься сам знаешь где.

На пароме я услышал, что великие люди и великие явления могут быть настоящими. Разговор о Величии требует величественных жестов, и Гумбольдт жестикулировал, жестикулировал величественно. Он говорил, что поэты должны остерегаться, иначе расшибут лоб об амери-

канский прагматизм. Он обрушил на меня потоки слов, а я слушал как зачарованный, задыхаясь в своем шерстяном костюме, доставшемся мне от старшего брата Джулиуса. Штаны были просторны в поясе, и пиджак топорщился, потому что брат был широк в груди и с брюшком. Я вытирал пот с лица платком, на котором было вышито «Д».

Гумбольдт в ту пору тоже начал набирать вес. Широкоплечий, но узкобедрый, впоследствии он отрастил животик, как у Бейба Рута. Он стоял или сидел на месте, но ноги у него находились в постоянном движении. Ступни смешно дергались, топтались, егозили. Внизу — комичное шарканье, сверху — царственное достоинство и какое-то ненормальное обаяние. Своими серыми, широко поставленными глазами он смотрел на тебя словно выплывший на поверхность кит. В крепко сбитой фигуре Гумбольдта чувствовалась утонченность: он был тяжеловат, но быстр в движениях, а на его смуглом лице проступала бледность. Каштановые с золотым отливом волосы спадали с макушки двумя светлыми прядями; пробор между ними был чуть темнее. На лбу у него был шрам. Мальчишкой он упал на полоз конька, даже кость задел. Бледные губы немного выпячивались, а во рту виднелись какие-то недоразвитые, будто молочные, зубы. Гумбольдт выкуривал сигарету до последней крошки табака; галстук и лацканы пиджака были в дырочках от упавших искр.

Гумбольдт постоянно возвращался к теме Успеха. Что об этом знал я, деревенщина? Он натаскивал меня, как щенка. «Только вообрази, — говорил он, — что это значит — сразить Деревню наповал своими стихами, а потом выдать несколько критических статей в «Партизан ревью» и «Саузерн ревью»?» Он много порассказал мне о модернизме, символизме, Йитсе, Рильке, Элиоте. Выпить Гумбольдт тоже умел. И за девочками приударял дай Бог каждому. Нью-Йорк в ту пору был очень русским городом. Куда ни сунься, везде Россия. Как выразился Лайонел Абель, громадный город хотел переехать в другую страну. Нью-Йорк мечтал бросить Северную Америку и слиться с Советской Россией. С бейсбола и Бейба Рута он запросто перескакивал к Розе Люксембург, Беле Куну, Ленину. В те минуты